

Максим Осипов
Люксембург
и другие русские истории



издательство **ACT**

Москва

Камень, ножницы, бумага

повесть

Время — наше, мирная жизнь. Городок в средней полосе России, в стороне от железной дороги, от большого шоссе. Есть река, есть храм.

В центре города — дом Ксении Николаевны Кныш. Дом одноэтажный, но большой. Пельменная возле дома тоже ее. Кныш — глава районного законодательного собрания. Ей пятьдесят семь лет.

Утро, вторник, седьмое марта. Ксения Николаевна на крыльце с Пахомовой, директором общеобразовательной школы. В руках у Пахомовой — поздравительный адрес, желтенькие цветы:

— Здоровья вам, Ксения Николаевна, счастья, благополучия! Многих лет вам на благо города!

Ксения кивает, войти не зовет. В папке — листочки.

— Опять попрошайничает, Пахомова?

— Ой, что вы! Писания соседа вашего, в компьютере были, в учительской. Но уж вы никому, Ксеничка Николаевна, народ у нас, сами знаете...

Ксения, сурово:

— Ознакомимся.

Улыбаются все-таки: всех вас, весь ваш женский коллектив — с праздником! — и домой, читать. Сосед — враг. Молитесь за врагов ваших. Да молится она, молится, что ни день...

Мне сорок лет, и я хорошо себя чувствую, но после сорока смерть не считается уже безвременной, а потому пора мне собраться с силами и записать. Мысли неотвязные, недодуманные... Сорок лет. Слабеет вера в человека, а значит — и в Бога. Зачем все это, зачем? Будто сижу спиной к движению и смотрю в окно. А там — прошлое, только прошлое. Сорок лет — чем не повод разобраться с прошлым?

Я учитель русского языка и литературы, не женат и бездетен. Всю свою жизнь за вычетом той, что прошла в Калининском университете (неприятный, забытый сон), живу в нашем городе. Здесь красиво невеселой среднерусской красотой. Если не видеть сделанное человеком, очень красиво. Тут я, по-видимому, навсегда: тут родился, тут и умру — прежде, в юности, меня эта мысль угнетала, теперь нет. Живется мне, конечно, чуть одиноко, в особенности зимой, когда в пять уже совершенно темно, и сразу лишаешься того, без чего жизнь неполна, — реки, деревьев, соседских домов. Спиться мне не грозит, я не переносу алкоголя, а сочинять — пробовал, как всякий бы, наверное, в моем положении. Прочтут и обалдеют — таковы истоки моего «творчества». Да и кто, собственно, обалдеет? Несколько учителей-мужчин — вся наша интеллигенция. Врачей и священника к интеллигенции не отнесешь, а женщины в школе у нас безликие и какие-то обремененные, по большей части замужем за мелким начальством. «Каков диаметр Земли? — спрашивает у ребят географ. — Не знаешь? Плохо. Земля — наша мать». Эту шутку он

повторяет лет двадцать, но никто, включая учителей, не потрудился узнать ответ: зачем? — мы никуда не ездим, Земля нам не кажется круглой. А географ скоро умрет от рака: тут всё про всех знают, особенно плохое.

«Отслужу в армии, отсижу срок...» — сказал недавно один деревенский мальчик мечтательно, мы обсуждали с ним будущее. Годы учения и странствий — так это называется? Вот мальчиков из моих первых выпусков почти что и не нет в живых: наркотики, коммерция, боевые действия — я огорчался сперва, а теперь, страшно сказать, устал жалеть их, привык. Девочки — те в основном уцелели, каждый год по несколько моих выпускниц поступают в университеты и академии — в Твери, Ярославле, даже в Москве. Девочкам и книжки интереснее, и сами они хотят нравиться: я человек нестарый и несемейный, мы устраиваем литературные вечера, дом у меня большой. Литературные четверги — так мы их называем, очень все целомудренно: чай, стихи, проза. Я люблю радоваться и радовать. И даже грустная, очень грустная история с Верочкой Жидковой меня не расхолидила.

У нас есть река, и нет железной дороги — на десятки километров кругом. Говорят, это мешает промышленности, но железная дорога — это ведь несвобода, зло. Как ее ненавидел Толстой и как любили большевики! Наш паровоз вперед летит, и все прочее. Тормозной путь полтора километра — шутка ли? Иное дело автомобиль. Эх, был бы он у меня! Водить-то — уж как-нибудь. Сел бы за руль и отправился в Пушкинские Горы, а то и в Болдино, побродил по святым местам, а там бы, глядишь, встретил учительницу, свободную, одинокую. Лежу иногда без сна, сочиняю свои диалоги с ней. Ребячество? — ну и пусть. «Как вам экскурсия?» — спрошу я ее, и она мне ответит не очень впопад, но так, чтоб я распознал цитату: «За-

тейливо». Скоро признаюсь: «Я полюбил вас с той минуты, как увидел вас. — *Может быть, не так в лоб, но что-то похужее. Она засмеется, словно бы не поверит. — Клянись*». Учительница нахмурится: «Не клянитесь ни небом, ни землею». А я закончу: «*Ни веселым именем Пушкина*». Осмотрев достопримечательность, поедем ко мне — без разговоров и договоров. В машине сыграем в игру. «*Песнь песней*», — скажу, а она ответит: «*Сказка сказок*». Я продолжу: «*Святая святых*», — «*Сорок сороков*», — «*Суэта сует*», — «*Конец концов*», — «*Веки веков*», — и она подумает немножко и сдастся.

Мало ли в какую можно игру поиграть, да только машины у меня нет как нет. А будь я порасторопнее, продал бы половину своей земли (участок большой, на нем кроме сорняков почти ничего не растет), перестроил бы дом и на машину б хватило, и даже осталось бы. Земля у нас за последние годы подорожала раз в пятьдесят. Так что человек я весьма обеспеченный, только распорядиться богатством своим не могу. Если честно — не особенно и стремлюсь. Провинциальному учителю бедность к лицу — ведь так? Мне живется тепло. Опасно, грязно и пахнет, конечно, пахнет, не станем метафору продолжать.

У меня изумительные родители, у деревенского мальчика (отслужу-отсужу) таких нет. Грубая жизнь — с рождения, магазин ограбит, не оттого, что голоден, а из удали, или выпьет и подерется с кем-нибудь — как такого судить? А если одноклассницу изнасилует? А если человека убьет? С какого момента ребенок начинает отвечать за свои поступки и начинает ли?

Одного мальчика лет шести, очень легко одетого, я подобрал перед Новым годом на автостанции: он пришел побираться — думаю, в первый раз, и еще не знал, как под-

ступиться к этому. Взял я его на елку к дачникам, помыли мальчика, придели, надавали разных вещей, отправился его провожать. «Наша квартира», — показывает, а там комната такая, безо всего, только лампочка под потолком и кровать железная, а поверху, на куче тряпья, — голый дядька, грязный, пьяный, и запах. Я дядьку прикрыл, попытался что-то ему втолковать — про сына, мешки с вещами, про то, что порядок нужен, а он меня спрашивает: «Православный?» Я замялся — что за вопрос? — а дядька присел на кровати, качнулся так: «Русский?» — «Да, — отвечаю, — русский». — «И зачем тебе — вещи, порядок? Мне вот, — говорит, — ни-че-го не надо». Но почему? Он и сам как будто бы удивлен. А сына его я на следующий день опять встретил у автостанции. Не признал меня, рассказывает взахлеб: «Вчера в таком доме был! Во живут москвичи!.. Наворова-а-ли!»

То — дети. А взрослый народ и впрямь совершенно себя позабыл. Почти никто, например, не помнит телефонного кода нашего города — не даем мы свой номер никому за его пределами, не чувствуем себя частью целого. Будда, Сократ, Толстой, а вот я — житель такого-то городка, телефонный номер такой-то, — вот как должно быть устроено. В глубины народного сознания и прочее верят теперь только дачники, а местные телевизор смотрят. Не от усталости, не потому, что тяжелая жизнь, она легкая, не голодная, а чтобы дырку заполнить, чем-то себя занять.

Вернемся к моей ситуации. Родители живы, оба на пенсии: папа преподавал английский, мама начальные классы вела, от меня внуков не дождалась, переселились в Москву: там театры, выставки, там сестра моя живет младшая. Родители любят друг друга и нас с сестрой. Бунта против мира взрослых у меня никогда не было. Говорят, юность без бунта неполноценна — я так не думаю.

Итак, близкие живы, и в списке моих потерь Верочка — самая главная, по существу единственная. Три года прошло, как не стало ее, а вспоминаю Верочку ежедневно, даже, может быть, ежечасно. Всегда — когда сталкиваюсь с живыми, умными девочками, а они среди моих учениц есть. Одна тут недавно спросила: «Раз запятые ставят по правилам, то, может, они вообще не нужны?» Отчего самому мне этот вопрос не пришел в голову? «Надо подумать, — говорю ей, — надо подумать». Ради таких вот умненьких и работаю.

Чтобы покончить с дачниками: незадолго до Верочкиного отъезда сидели мы с ней на веранде и писали для моей выпускницы Полины вступительное сочинение в какой-то бессмысленный вуз. Академия сервиса, кажется: берут всех подряд, телефоны на экзаменах не отнимают, так что мы себе пили чаек и наперебой отправляли Полине текстовые сообщения. Тема досталась такая: «Духовный мир провинциальных дворян в романе “Евгений Онегин”». Всему, что мы пишем, Полина, предполагалось, придаст развитие.

Пишем: «Этот мир представлен в романе со второй главы по начало седьмой. Онегин бежит сюда из мира большого, из Петербурга. Незатейливое простодушие деревенских соседей, — Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил... Интересы: Их разговор благоразумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне. Живущих в провинции отличают простота, непосредственность интересов, однообразный уклад, не любовь, а скорее привычка друг к другу. Неструктурированный день, много свободного времени: Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит... У людей с душой происходит расцвет иллюзорного мира: Вдыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть... Главная особенность провинции — отсутствие настоящих жизненных

впечатлений, особенно у женщин». Так и написали: «особенность» — «особенно», потому что спешили. «Еще?» — спрашиваем, — «Da, da, please!» — «Серьезное отношение к жизненным принципам: родись Татьяна в Петербурге, она не достигла бы той искренности ни при первом объяснении с Онегиным, ни при последующих. Строгость и простота здесь не те, что в столицах. Онегин живет по столичным законам, которые не подразумевают ни искренности, ни глубины. По небрежности убивает Ленского, делает несчастной Татьяну. Разумеется, в провинциальной жизни, как и в столичной, есть и чванство, и глупость, и шутовство, в откровенных, гротескных формах, так что не следует, — советуем мы Полине, — идеализировать ситуацию». Она поблагодарила нас, пора уже было переписывать набело, а мы подумали с Верочкой: Онегин в деревне — это про наших дачников, разве нет?

Те, кто попроще, ходят в жару полуголыми, в Москве они так себя не ведут. Дачники покультурнее не хотят обижать никого, и все равно обижают. Питерские чуть отличаются: у них имена-отчества, у москвичей остались одни имена. Где-то в столицах диссертации защищают, книги издают, происходит что-то существенное, литераторы хлопают друг друга по физиономиям, а тут — нельзя же всерьез принимать эту милую, теплую, грязненькую жизнь. Несерьезная влюбленность, несерьезные правила поведения. Заглянут по дороге с реки ко мне, от меня — в пельменную: посидеть, потусить, как теперь выражаются. Лето закончится, и — до лучших времен: дайте знать, когда соберетесь к нам в Белокаменную.

Я и сам подвержен приступам страшной лени всех разновидностей — душевной, духовной, физической, — и быть учителем нравственности не хочу, мне бы со своим предметом управиться, а все-таки ужасную досаду вызы-

вают иные воспоминания. Как бы не было тяжело жить монахом и как бы мало я не испытывал в своей жизни радостей женской любви, а с появлением Верочки отказался и от того, что имел. Служить развлечением дачницам: сельский учитель словесности, энтузиаст, давайте-ка приблизим его к себе, что это он до сих пор неохваченный? — нет уж, с этим расстаться не жаль.

Про Верочку. Верочка хороша была до такой степени, что все мужчины, кроме последних пропойц, останавливались, оборачивались, а то и вслед ей шли. В жесте, в движении — рук, головы, плеч — никакой угловатости, неловкости, никогда. Училась она в моем классе лет с четырнадцати и до выпуска — я только старшие классы веду. «Зачем НЕ с глаголами писать отдельно? Хоть вы объясните мне! — вот первое, что я услышал от Верочки. — Как удобно было бы — НЕХОЧУ, НЕЛЮБЛЮ!». Поглядел я тогда внимательно на нее и подумал: вот она, жертва, классическая, или теперь подверстываю воспоминания к дальнейшему?

Верочка очень ко мне тянулась. Да и я любил Верочку. Конечно, любил, но сам же и обрывал ее, когда она проговаривала объясниться, какая я пара ей? И ученица, и разница в возрасте, да и тянулась она, может быть, не ко мне, а к прозе с поэзией. «Это, Верочка, у тебя от чтения и лечится тоже — чтением», — вот и все, что я мог ей сказать. Но приходиться на чай ко мне она не переставала — все запросто: соседи, неструктурированный день.

Ксения, мать ее, ревновала Верочку, на родительские собрания отправляла отца — коммуниста Жидкова, так мы его называли, он уже с ними не жил. Был когда-то секретарем райкома, начальником, по здешним меркам, большим. Потом Ксения его бросила, стал болеть, пить, сделался серый какой-то, землистый весь, невозможно стало с ним разговаривать. Теперь, думаю, помер уж.

А какие Верочка сочинения писала по Достоевскому! Не без натяжек, конечно, но очень талантливые. Помню почти наизусть — про Порфирия, пристава следственных дел, глаза с жидким блеском, про то, что мы удивляемся, когда ОНИ оказываются людьми, про то, что Порфирий — единственный, у кого нету фамилии, а вот спас же Раскольников, он и Соня спасли его, справедливость и милосердие — два действия божества! А сочинение ее по «Грозе» — вообще самое интересное, что я об этой пьесе читал: про Катю Кабанову и Анну Каренину. И несостоятельных, слабых мужчин.

Каждый преподаватель литературы мечтает, чтобы его ученик стал настоящим филологом, вот и я посоветовал Верочке: поступай-ка ты на филфак. Думал — в Москву, но она выбрала Петербург, как я ни отговаривал Верочку: скука, холод и гранит, как ни просил перечитать того же Толстого. Дочка начальников, к тому же единственная, — не привыкла ни в чем получать отказ. В прежние времена из таких, как Верочка, образовывались, я думаю, эсерки, народоволки... Только смеялась в ответ, декламировала Ахматову: Но ни на что не променяем пышный, / Гранитный город славы и беды... — для Верочки Петербург обернулся только бедой.

Ксения филологию не одобряла, хотела Верочку сделать юристом: заработок, работа на фирме, замужество с иностранцем. Счастье — на обыкновенных путях, — знаем, слышали. Верочка, естественно, не обсуждала мать, повторяла лишь, что она — ДРУГАЯ. Сразу в университет не пошла (не любила проигрывать), целый год готовилась: по литературе — конечно, со мной.

Подробностей ее гибели я не знаю и не желаю знать. Общежитие, квартиры, испорченные ленинградские мальчишки, жестокие, остроумные, с кем-то она расставалась, с кем-то сходилась. Питерское культурное подпо-

лье — злые ребята! Письма скоро пошли какие-то не ее, не Верочкины. Ехала в Петербург за высокой культурой, а в результате — университет бросила, и пошло: помощь обиженным, обездоленным. Идея возникла у Верочки — обращать несчастных людей к прекрасному: к музыке, живописи, красоте. Тех, кому уже некуда больше идти. Как могла она справиться? Среди них разные, видимо, типы есть — в основном отрицательные. Было, рассказывали, и насилие. Со стороны одного из ее подопечных. Говорили разное: приняла таблетки, яд, откуда у Верочки яд?

Я и на похоронах ее не был. Директриса наша, Пахомова, сделала так, чтобы я на них не успел: в область отправила, на повышение квалификации. Жалела меня, вероятно, по-своему. Отец Александр отпевать Верочку не хотел, но Ксения с ним, разумеется, справилась. Никому не нужна была гибель Верочки, никому. Вот что: живым надо быть, а я был — ХОРОШИМ. Женился б на ней, а потом отпущал в Петербург, хоть куда.

— Женился бы он... Ишь, — усмехается Ксения, — женилку отрастил. Слабак. Тьфу. — Отрывается от чтения, руку трет.

На руке — темное пятно, поросшее волосами. От волнения пятно пульсирует, чешется. Закрывает его рукавом.

— Да, что тебе? — Исайкин, высокий, сутулый — муж. — Иди, давай, открывай, клиенты ждут.

Убогий. Автомагазин тоже ее. «Достойная резина для достойных людей» — вся работа Исайкина. Достойные свечи, масла. Выгнать бы к чертовой матери, но — венчались, неплохо. Что Бог соединил... Бог и так ей должен. За дочь и за все.

Дочитать гада.